

Новая Польша 5/2012

0: НАШ ВЕЛИКИЙ СОСЕД

После того как немцы в конце июня 1941 года заняли Ровно, они сделали город моего рождения центром большой оккупационной зоны, которую назвали Reichskommissariat Ukraine. Теперь мы могли познавать и созерцать природу второго государства, участвовавшего в разделе Польши. Волинь была быстро превращена в колонию, которую Третий Рейх собирался неустанно эксплуатировать на протяжении своего апокалиптического тысячелетия. Количество учреждений, толпы военных и чиновников в форме, их манера держаться, их отношение к покоренному населению — всё это свидетельствовало, что наша судьба определена, быть может, до самого конца света. В согласии с генеральной директивой Берлина, которую всех мастей коллаборанты разгласили по городу, вся здешняя славянская популяция, даже пока что не уничтоженные евреи, должна была тяжким трудом содействовать немецкой военной машине и ее администрации.

Национализированное Советами имущество стало, разумеется, собственностью Германии. В нее вошли и коллективизированные или национализированные сельские хозяйства. Так расположенное под самым Ровно, в деревне Тынное, бывшее имение пани Бонкович, которое в марте 1940 году Советы превратили в совхоз, стало теперь владением Рейха: Staatsgut Tynne.

Немецкая администрация обратила на него особое внимание, так как в нем каким-то чудом уцелели многочисленные теплицы и большие поля парников. Их быстро довели до состояния годности. Силой доставили известного ровенского садовника и приказали ему обеспечить хозяйство рабочими руками. Речь явно шла о кулинарной базе для высших учреждений и о снабжении армейского командования ранними тепличными плодами. Это соответствовало тогдашнему колониальному стилю жизни немцев на колонизированной Волини. Тон задавал сам рейхскомиссар Эрих Кох. Без всяких колебаний он изгнал из нескольких деревень украинских мужиков, чтобы учредить там для немецких любителей охоты заповедник дичи. Весной 1942 года он организовал фестиваль культуры, чтобы его многочисленная администрация могла наслаждаться музыкой Бетховена и Вагнера. В августе того же года выполнил приказ ликвидировать на этот раз всех евреев, которые еще оставались в живых. Тогда-то у нас в Тынном застрелили пана Мигдала.

Управляющим этого хозяйства стал поляк, какой-то знакомый отца. Случайно встретив отца, он внезапно предложил ему должность кладовщика и жилье в бывшем имении. Отец ни секунды не колебался. Так он ускользал от внимания разных опасных коллаборантов и селил семью, как сам сказал, вблизи еды. При Советах внутри имения всё было сильно перестроено: при той системе всегда многочисленное начальство нуждалось во множестве жилых помещений. Итак, мама упаковала белье, наше единственное сокровище, велела мне связать веревкой несколько наших книг и в одном из этих помещений разбила для нас очередной бивак. Семье нужна была любая копейка, а главное так называемые выдачи, поэтому я стал работать в теплице.

Всю продукцию Staatsgut Tynne продавал в специальных пунктах скупки. Наличные передавал надутому чиновнику, который время от времени приезжал к нам в сопровождении двух солдат Вермахта. Кроме того хозяйство было обязано доставлять заранее заказанные овощи и фрукты на кухню Kreislandwirt'a, учреждения, надзиравшего за государственными сельскими хозяйствами. Это обстоятельство довольно существенно повлияло на мою жизнь. Петро, молодой украинец, который занимался лошадьми и транспортом, не знал ни der, ни die, ни das. А я знал. Еще до войны пан Нудель, один из многочисленных друзей нашей семьи, немного подучил меня своему родному языку — по ясно выраженному желанию отца. Учил он методом столь же древним, сколь и простым. Вбивал в меня грамматические правила и столбцы упорядоченных слов. Месяцы, зерновые, фрукты, овощи. Благодаря тому, что я хоть как-то понимал, что мне говорят по-немецки, мог даже слепить примитивное предложение и знал, что die Petersilie — это петрушка, меня прогнали из теплицы и придали в помощники к Петру. С весны 1942 года мы составляли тандем, ответственный за транспортировку наших плодов на тысячелетнюю кухню Kreislandwirt'a.

Понятно, что Петро, взрослый восемнадцатилетний мужчина, который приобрел уже многие необходимые и важные в жизни навыки, стал мне образцом и учителем. Лошади не были для меня загадкой — в конце концов, я вырос в кавалерийском полку, но Петро знал их лучше и лучше умел с ними обращаться. Умел он и всё починить. Петро напоминал своего тезку из «Наталки-Полтавки» Ивана Котляревского, тильки вин не блукався по заробитках, а постоянно жил в своей деревушке, и единственным городом, который он знал, было Ровно. «Полтавку» знали повсеместно. Все пели пени из нее. Мама очень любила «У сусида хата била». Петро

подхватил из нее выражение «мое сэрдэнятко», которым щедро одарял кого угодно. Когда во время перерывов в работе холостяки собирались в овине и, разумеется, начинались рассказы о мужских победах, он демонстративно иронически отстранялся, заканчивая описание подвигов убийственным словом «побрэхэньки». Он был начитан в родной литературе, ориентировался в соотношении политических сил, которые действовали тогда на селе. Нашим пропитанием и бельем занималась моя мама. О жалованье не было и речи: все мы жили на счет хозяйства. По сути таков был истинный смысл существования Staatsgut Tynne. Кроме ночи с субботы на воскресенье, тандем спал в конюшне и очень сжился.

Когда Петро замыкал ее тяжелые ворота, кошмар немецкой Волыни таял в тишине. Нас охватывал покой безопасного логова. В углу, отделенном от лошадей завалами спрессованной соломы, между двумя постелями, на ящике, покрытом клеенкой, возносился под балки потолка светлый огонь карбидной лампы. Остальная конюшня была погружена в полумрак и полную тьму. Часто мы долго лежали молча, чтобы послушать музыку счастливой жизни: лошадиный храп и священный шелест, когда лошади набирали в рот овса. В наших местах господствовало всеобщее убеждение, что человек, которому докучают паразиты, должен выспаться в конюшне. Пропитанную лошадиной мочой конюшню рассматривали как что-то вроде дезинфекционной камеры. За такое лечение несколько несчастных предлагали нам по целому литру самогона. Петро гнал их взашей. Даже и мысли не допускал, что конюшня могла бы так запахаться, а лошади — оскверниться. Ему тут ничего не принадлежало, но он чувствовал себя ответственным за лошадей, за их дом и наше теплое логово, картина которого часто возвращается сегодня ко мне во снах и наяву как сказка о выпрошенной, как милостыня, безопасности.

Нашему тандему, однако, не был сужден покой. Украинская повстанческая армия, УПА, целью которой было полученное от Советов, хоть и скорректированное национализмом украинское «государство рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции», уже зимой 1943 года начала действовать, с тем чтобы на этот раз, после этой войны, ни Галицию, ни Волынь Польша уже не смогла присоединить к своим владениям, как это удалось ей после Первой Мировой войны. К польскому населению на Волыни отнеслись как к неприятной помехе в осуществлении этого идеала. Способ ее устранения был прост. В серьезной публицистике его называют этническими чистками. На самом деле шли массовые убийства, нередко предваряемые изощренными пытками. Результат этой операции должен был быть таким же простым. Поляки, которые уцелеют в этой резне, возьмутся за ум и быстро смоются за Буг.

В наших местах всерьез опасно стало только в середине весны 1943 года. Сначала царил такой удивительный обычай, родившийся из желания обмануть грех: убивали только по ночам. Поэтому под вечер мы теперь отправлялись в Ровно, где отец нашел нам приют в семье Бжозовских. Мама снова увязала белье в узелок, но икону оставила в имении. Дни в Staatsgut Tynne начали разнообразиться частыми визитами советских партизан, которых интересовали только свиньи и птица. Немцам тут сказать уже было нечего. Колония Третьего Рейха съёжилась до пределов города. В хозяйстве никто не работал. Все присваивали себе всё, что только удавалось сдвинуть с места. Особенно продовольствие. Может, поэтому отец каждое утро тащил нас в Тынное. Но вот однажды запыхавшийся Петро подбежал к отцу, отозвал его в сторону и сказал, что в деревне всё плохо. Там решили, что недостаточно напугать ляхов и изгнать на берега Вислы, потому что они всегда будут пытаться вернуться. Надо их убить, закопать в землю, и тогда уж точно не вернутся. Как стояли, так мы немедленно отправились в город, с единственным нашим настоящим сокровищем — ощущением смертельной опасности. В тот день я видел Петра в последний раз. Тандем перестал существовать.

Но зимой с 1942-го на 1943-й мы еще жили в покое и, можно сказать, безделье, почти без выездов, холя лошадей и заботясь об упряжи. Однажды в субботу Петро заявил, что домой ему не хочется, и мы ночевали в конюшне. Как-то нам пришло в голову, что стоило бы в конце концов забраться на чердак старого дома. В хозяйстве пусто, так что никто нами не заинтересуется. Мы не очень-то знали, зачем, но хорошо было бы осмотреться в этом закомарке.

Назавтра, когда мы оказались во мраке под крышей, чердак тут же явился нам как чудесным образом воспроизведенное, но и покалеченное прошлое. Чего там только не было! Какие-то поломанные столы и совершенно крепкие стулья. Полно тростника и множество занавесок. Немало разнообразных глиняных дежей и очень приличный, хотя и хромо́й диван. Всюду множество советских административных документов и газет. Петро нашел даже несколько украинских книг и раз за разом выкрикивал: «Иван Франко! Леся Украинка!» А я среди полутора десятков неизвестных мне романов выкопал книгу в прекрасном переплете, весьма элегантную, явно остаток от бывшей библиотеки имения.

Это был четвертый том «Сочинений» Мауриция Мохнацкого с портретом автора, изданный в Познани в 1863 году книжным магазином Яна Константы Жупанского. О Мохнацком я знал всего лишь, что он участвовал в

восстании 1830 года. Это было, если можно так сказать, любимое восстание отца, и дома, когда собирались гости, о нем часто рассуждали. И я отложил чтение «Сочинений» Адама Мицкевича, которые Тадеуш Пини собрал в один не особо удачный том, и всей душой погрузился в свою неожиданную находку, так как одна из помещенных там статей называлась «О характере московских захватов». Я не должен добавлять, что чтение подростка носит неистовый характер. Автор его не интересует. Важно, что именно тот написал, а значит, он не пропустит ни единой страницы.

Вот так в этой уютной и тихой конюшне, при слегка вонючей карбидке, я начал приобретать добросовестные политические знания о государстве, о котором ныне в газетах и по телевидению пишут и говорят: наш Великий Сосед. Сам Мауриций Мохнацкий, как оказалось, не прошел для меня даром. Он не притупил моей ненависти к России за так называемое «всё» с особым учетом нападения 17 сентября 1939 года, но мою бессильную ярость уже навсегда заменил работой разума. Это было ценное приобретение, потому что где-где, а в Польше уже пятнадцатилетний подросток обязан держать в голове грозное и мрачное зло — российское государство. Некогда, ныне и всегда.

Непотребство королей Европы

Прежде чем в феврале 1940 года началась массовая высылка, постоянной темой вечерних разговоров в польских домах на Волыни были Франция и Англия. На них продолжали возлагать надежды — а на кого ж еще можно было их возлагать. Острова не возбуждали опасений. Их защищало море. Боялись за Францию, хотя тревогу слегка смягчала унаследованная от довоенных времен вера в линию Мажино. Эта полоса обороны была будто бы такой современной и так великолепно оснащенной, что если бы немцы попытались ее прорвать — обломили бы зубы. Более трезвые статисты сразу начали каркать, что линию Мажино можно обойти. Никто не сомневался, что немцы не колеблясь растопчут и Голландию, и Бельгию.

Для меня это было время погружения в атлас. Отец всегда следил за моими интересами, и когда я спросил его однажды, где же лежит эта самая Укаяли, над которой поют рыбы, и что такое созвездие Ориона, он на следующий же день принес мне прекрасный атлас мира с картами северного и южного небесных полушарий. Я устался в края на берегах Рейна, и у меня получилось, что тогдашний вариант прославленной дилеммы «войдут — не войдут» перестал иметь всякий смысл. Высылки в Казахстан и поражение Франции свели вечерние разговоры к одной теме: выжить. Неизвестно, как, но известно, что любой ценой надо выжить. Здесь или там. За Уралом, в степях, за морем и повсюду.

Народ, у которого в соседях разбойная империя, быстро становится мастером подозрений. Само по себе подозрение паршиво двусмысленно. С одной стороны, оно учит проницательности, которая защищает нас от наивности и горьких ошибок. Во всяком случае заставляет думать и охраняет от хитрости манипуляторов и мошенников всех мастей. Но с другой — сочит в ум страх перед общением с окружающими. Парализует мысль, так что она предпочитает не нарываться на риск и выбирает неподвижность. Уговаривает отказаться от познания. Тогда начинаешь прозябать в беспомощности.

Такое извилистое подозрение по отношению к западным странам появилось в вечерних разговорах сразу после нападения Германии на Россию, 22 июня 1941 года. Какое решение они теперь примут в вопросах преступления, которое совершил в 1939 году союзник гитлеровской Германии, а теперь великий участник их коалиции? Как всегда у нас, вопрос этот рассматривали в этических категориях, а накопившиеся до тех пор факты, из которых вытекало это застарелое подозрение, утвердили наших отцов в убеждении, что они снова нас предадут и снова нас продадут.

В своих статьях Мохнацкий старался избегать морализаторства, но ему это не всегда удавалось. Французское восхищение Россией, которое дало о себе знать вместе с появлением июльской монархии в 1830 году, он считал политической ошибкой, оправданием которой не служило невежество общественного мнения. Ибо мало что было известно о действительной системе правления в царском государстве. Об отношениях между населением и властью рассказывали выдумки. Это началось еще в XVIII веке, когда группа энциклопедистов, пламя просвещения и кремень разума, Вольтер, Даламбер и Дидро, начали «захваливать Франции Россию». Эти «философы монархию Петра и Екатерины Европе и цивилизации за образец указывали. Французское правительство, как видно, и ныне пошло за их мнением». Польша была для них возмутительным доказательством отставания в цивилизации и варварской нетерпимости, страной разнузданной анархии. Совершенно ясно, что она не была способна организовать себе разумно управляемое государство. Значит, справедливо была уничтожена. Ее земли наконец попали под скипетр просвещенных монархов.

Мохнацкий был далек от того, чтобы скрывать религиозное ожесточение, отсталость и политическую глупость нашей шляхты, но не считал, что всё это оправдывает союз с целью захвата и раздела суверенной страны.

Причины его возмущения лежали не в этике, а в принципах прав сосуществования между государствами. Нескрываемое восхищение Россией Вольтер выражал с таким пылом, что лесть можно было спутать с униженностью. «Говорят, — писал он прусскому кролю Фридриху 21 августа 1771 года, — что мои любимые русские побиты турками. Я в отчаянии и умоляю Ваше Высочество соизволить меня утешить». «Дело постыдное и безумное, — писал он Екатерине 6 июля 1771 года, — чтобы тридцать молокососов из моей страны нагло собирались воевать с Вами [речь идет о военной помощи генерала Ш. Ф.Дюмулье барским конфедератам. — Р.П.], в то время как двести тысяч татар оставляют Мустафу, чтобы Вам служить. Вот татары полны политеса, а французы обратились в скифов. Извольте, прошу Вас, заметить, что я вовсе не вэлш. Я швейцарец. А был бы моложе, стал бы москалем». Velche, слово, хорошо известное еще Шопену, — это французская калька немецкого Welsch, которым на родине царицы презрительно обзывали французов.

Политические оценки Мохнацкого не всегда были верны, но диагноз причин польской подозрительности в отношении Запада был, пожалуй, метким. «Не отважиться признать независимость польской нации в границах, указанных манифестом Сейма [во время восстания 1830 года], дрожать перед царем тогда, когда он сам был так близок к падению, когда польская кровь так изобильно проливалась, было чем-то большим, нежели ничтожество. Было высочайшим политическим неразумием. Польша и на этот раз частью от своих погибала ошибок, частью — от островного равнодушия Англии и непросвещенного эгоизма Запада, где внутренняя политика со времени падения Наполеона во внешней никакого прогресса не допустила». Убеждение в том, что такое поведение западных государств было неразумно, только напоминает вариант польских горьких сожалений. Но тезис о западном невежестве был хорошо обоснован.

Западные представления о царском государстве, говорится в статье «Дорога из Москвы в Восточную Индию» от 24 августа 1832 года, сформированы двумя факторами. Первым была свободная печать, или частные газеты, как кто предпочитает. По сути дела речь шла о кампании, организованной Россией с того момента, как она поняла, что общественное мнение в этих странах обладает кое-каким влиянием на правительства. Мохнацкий описал эту процедуру на примере Англии. «Ни в одной, быть может, столице нет у Москвы столько платных писателей, как в Лондоне. Со времени июльской революции [1830] это влияние в Париже, возможно, выросло, но на общественное мнение действует не так успешно, как в Англии. Одним из фортелей Москвы всегда было нейтрализовать те органы общественного мнения, которые стремятся возвещать миру силу и направленность этой державы. Царскосельский кабинет, полуазиатский, полуюропейский, любит тихие завоевания. Однако что взял, того уж не уронит. Заслуживает внимания, что со времен Петра I ни квадратного фута москаля не потеряли». Эти оплачиваемые писатели и публицисты, как правило весьма влиятельные, были попросту агентами Москвы. В то время Москве было важно оказать нажим на правительство, чтобы оно приняло такое решение по ближневосточным вопросам, которое подготовило бы почву под планируемые военные действия России на этой горячей территории. Во Франции аналогичные подвиги действительно приносили результаты похуже, но этот неуспех Москва восполнила огромным влиянием во французской полиции.

Вторым фактором была тоже печать, на этот раз, однако, официоз. Мохнацкий анализировал образ России, пропагандировавшийся в полуофициальном органе французского правительства «Журналь де деба», или — как он сам перевел — «Дневнике обсуждений». Правительство создало этот образ на нужды своей текущей политики, обосновывая этим свои начинания в сфере француско-российских отношений. Этот старательно подготовленный, как теперь говорят, image России носил, по мнению Мохнацкого, все черты сказочного повествования, столь же смешного, сколь и ужасающего. «Ежели ныне Франция такое представление о Москве обрела, [то] горе Европе, горе [самой] Франции».

В этой сказке царская империя являлась как монолитное государство, сплоченное «широкой и глубокой народностью», une nationalité vaste et profonde, «побратимством и общностью рода и духа между шестьюдесятью миллионами». «Эта общность рода, веры и духа, — заверял «Журналь де деба», — повелевает политикам и военным уважать этот безмерный укрепленный лагерь, охватывающий девятую часть суши, где правительство страстно любит цивилизацию, ибо опасаться ее еще нет причин, и на семиста тысячах квадратных миль изливает благодеяния гражданского мира, неизвестного до сей поры в летописях всего мира». Поскольку ни одна информация не отвечала действительности, Мохнацкий не хотел «подробно изъяснять вещи, «Дневнику обсуждений» хорошо известные. Где политика, — прибавил он, — накручивает до самых зрелищ статистику и под полюсом находит себе вдохновение писать о восточных интересах, нет смысла укорять в статистических ошибках».

Целью такого рода текстов было укрепление образа России как мощнейшей державы. Французы обязаны быть убеждены, что «это сильная и счастливая нация, которой противостоять не удастся». Это было основой тогдашней французской политики в отношении России. Она оправдывала готовность к компромиссу любой ценой и склонность к капитуляции перед требованиями царизма ценой нескольких лживых слов, убагающих

Беликую Францию от стыда. Таким же было и обоснование «тесного союза Франции с Россией». «Россия никем поколеблена быть не может, ne peut être entamée par personne, разве что возникли бы [какие-то] коалиции. И это ее первая выгода. Россия угрожает всем. И это ее вторая выгода».

Такой подход, писал Мохнацкий в статье «О характере московских захватов», навязывала вера в «фатализм московской мощи». Хотя Франция сама была державой и ее правительство не допускало мысли, что Россия могла бы угрожать ее существованию, однако она предпочитала не давать воли воображению, как — не говоря худого слова — Наполеон в 1812 году. Но всем малым и слабым нациям она советовала подчиниться мощи царского колосса. «Если кому бы то ни было не везет, — писал Мохнацкий, — Франция ему тут же говорит с поспешностью, предвещающей его политическое уничтожение: “Погибай без спасения!”».

Фатализм московской мощи, в «ничем не сдерживаемый рост» которой верило французское правительство, породил западную политику дозволения на наглые требования и мелкие авантюры России. «Петербургский кабинет, — писал Мохнацкий, — сто лет не то делал, что мог, а только то, что другие ему по небрежности позволили».

Мохнацкий довольно мрачно оценивал отношение Европы к российским попыткам контролировать ее и осаждать. Причины слабости Запада в этой степени были для него ясны. Революционные движения к тому времени были рассеяны. Не умели объединиться. Не умели действовать систематически. Не отважились перейти от возмущения к атаке. Поэтому «в теле Европы по-прежнему таится умершая и все-таки всемогущая институция, которая с тем, что давно пропало, остается в дружеском взаимопонимании; которая тому, что догорает, скончаться не дает; которая неестественным и противным Богу союзом соединяет жизнь со смертью». Это Союз Королей Европы, которые, как братья, вдоль и поперек континента подали друг другу руки. «К бою всегда готовы, всегда и всюду свои интересы разумеют и этим интересам всем жертвуют, даже собственной алчностью, гордыней и себялюбием. Боязнь общего врага годами успешно одолевает страсти, свойственные всем разбойникам по причине неравного участия в дележе добычи». Общий интерес монархов только укрепил политический принцип: не дразнить русского колосса и позволять ему угрозы и запугивание.

В конюшне, при карбидной лампе, слушая мурмурандо